

## **ИСТОРИК И ВРЕМЯ**

А.В. Гордон

### **ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, ПРЕЛОМЛЕННАЯ СОВЕТСКОЙ ЭПОХОЙ**

Тема "Россия и Великая французская революция" представляет благодатное поле для изучения взаимодействия различных культур. В последние 30 лет на этом поле ведутся разносторонние и интенсивные исследования (Б.Г. Вебер, В.М. Далин, К.Е. Джеджула, Б.С. Итенберг, Т.С. Кондратьева, Ю.М. Лотман, Е.Г. Плимак, Г.М. Фридлиндер, Д.В. Шляпентох, М.М. Штранге). При всей значительности проделанного полноценный переход от регистрации и систематизации российских откликов на революцию к оценке культурного взаимодействия еще, однако, впереди. Предстоит поставить в центр исследований национальное самосознание, динамику отечественной культуры. А это значит - задаться вопросом, как выразило себя российское общество размышлениями, в которых судьбы России поверялись опытом революции во Франции, в какой степени образ и проблематика Французской революции были использованы русской культурой для самораскрытия в соответствии с внутренними потребностями и возможностями. .

Ярчайшим примером такого самосознания и самовыражения может служить отношение к Французской революции в советскую эпоху. Общество, возникшее благодаря революции, искало в исторической памяти человечества особо поучительные и вдохновляющие для себя образцы революционного созидания нового общественного строя. В силу как объективных обстоятельств (радикализм революции, ее международное влияние, размах массового движения), так и особенностей национального восприятия наиболее адекватным этому общественному интересу образцом оказалась революция XVIII в. во Франции. Субъективно важную роль сыграло изначальное отождествление ее с революцией вообще, революцией с большой буквы.

В сознании современников Октябрьская революция представлялась прямым продолжением Французской революции. Вожди "той" революции, якобинцы, Марат, Робеспьер казались борцам 1917 г. в полном смысле "своими", их чтили как героев одной-единственной революции. Концепция "революции-прототипа" особенно была характерна для идеологии первого советского десятилетия, когда, отринув государственно-монархическую и церковно-православную традицию Российской империи, Советская власть крайне нуждалась в исторической легитимации. Такую функцию выполняла интернационально-революционная

традиция, в которой выдающееся место заняли понятия, символы, персонажи якобинской государственности.

Бурный всплеск общественного интереса реализовался в советское время в интенсивном и разветвленном изучении Французской революции, предпосылки для которого были созданы в предшествовавший период творчеством П.А. Кропоткина, формированием прославленной "ecole russe", преподавательской деятельностью В.И. Герье, Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого, Е.В. Тарле. В рамках советской науки исследование революции XVIII в. во Франции оформилось в специальную историческую дисциплину. Являясь "неотъемлемой частью международной историографии", советская наука о революции имела, по определению А.В. Адо, "свою судьбу", "задавала... Французской революции свои вопросы"<sup>2</sup> Ниже речь пойдет главным образом о судьбе и своеобразии советской историографии<sup>3</sup> революции, поскольку (и насколько) в них запечатлелась политическая культура советской эпохи .

Советское общество прошло ряд фаз в своей эволюции, заметно отличающихся друг от друга, что подтверждается, в том числе, крутыми поворотами в освещении Французской революции. Существующее в историографии представление о последовательном разворачивании общей для всех периодов советской концепции революции нуждается в корректировке. Известная идейная преемственность между всеми периодами Советской власти воспроизводилась, разумеется, в отношении к революции во Франции. Оставался неизменным "революционный культ", которым отличалось восприятие ее демократической интеллигенцией России с середины XIX в. В ряду других революций нового времени -и даже как первая среди них — она представлялась важной вехой в поступательном движении человечества к светлому будущему, явленному, наконец, победой социализма в России.

От 20-х до 80-х сохранялась и методологическая преемственность в виде монополии классового подхода. В революции видели преимущественно одну сторону - непримиримые социальные антагонизмы, открытую и ожесточенную классовую борьбу, беспредельное, стихийное и организованное применение насилия. Господствовала классовая схема движущих сил, согласно которой всем частям французского общества отводилась строго определенная роль в революции, обусловленная их отношением к средствам производства.

И все-таки различия между временем "культа личности" (1930-1956) и двумя другими периодами в советской историографии революции весьма существенны, причем особенно резким стал идеологический переход от 20-х к 30-м годам. Здесь разрыв преемственности буквально налицо. В 30-х историческая наука СССР лишилась целой когорты исследователей Французской революции, тех, кто заложил основу советской историографии революции как самостоятельного течения в мировой науке и одновременно добился ее международного признания.

Решающую роль в становлении творческой зрелости этого первого поколения сыграла идеологическая обстановка, временное открытие .

советской исторической науки миру во второй половине 20-х годов. В этом кратком интервале между гражданской войной и "железным занавесом" ведущим исследователям удалось основательно поработать во французских архивах и библиотеках, завязать связи с французскими коллегами. Чтобы подчеркнуть чисто утилитарное значение этих связей, ограничусь одним, хорошо известным мне фактом. После возвращения к научной деятельности во второй половине 50-х годов Я.М. Захер за несколько лет смог обеспечить себя новейшей литературой по интересовавшей его проблематике: иностранные ученые, в первую очередь ученики Ж. Лефевра и Дж. Томпсона буквально завалили его своими книгами, публикациями документов и оттисками статей ,

"Оттепель" 20-х годов ознаменовалась существенным и серьезным по ряду направлений восполнением документальной базы изучения революции XVIII в. в СССР. Именно тогда усилиями главным образом директора Института К. Маркса и Ф. Энгельса Д.Б. Рязанова отечественные хранилища пополнились коллекцией революционных газет, публицистическими изданиями, фондами Бабефа и других деятелей революции, которые стали базой для дальнейших исследований.

В начале 30-х годов такое естественное развитие исторической науки было прервано. Культура, которая претендовала стать эталоном мировой цивилизации, замыкала себя "железным занавесом", и этот культурно-исторический парадокс обернулся научно-практическим казусом. Попытка достичь мирового уровня в изучении Французской революции сопровождалась запретом на общение с коллегами и исключением рабочих командировок во Францию. Между тем провозглашение абсолютного превосходства "единственно верного учения", дарованного правившей партией отечественной исторической науке, не могло компенсировать зависимости советских ученых от достижений западной науки, опиравшихся на необходимую источниковую базу.

Наиболее значительным достижением второго периода был коллективный труд "Французская буржуазная революция 1789-1794" (М.; Л., 1941). Изданный по случаю широко отмечавшегося в СССР 150-летия революции, внушительный по размерам том претендовал на то, чтобы стать последним словом в ее изучении, и он действительно на полтора десятилетия явил "наше все" в этой области. Реальным было обобщение или, точнее, суммирование всей массы советских исследований, в том числе, как отметил В.А. Дунаевский работ репрессированных к тому времени историков. Преимущественно труды последних (хотя на них, понятно, не ссылались заложили необходимую фактологическую основу для юбилейного издания. 6, )

Среди авторов тома, наряду с признанными специалистами -Е.Н. Петровым, М.А. Буковецкой, Ф.В. Потемкиным, К.П. Добролюбским - было немало людей, можно сказать, случайных, ранее не занимавшихся специально данным предметом, и одновременно мы не найдем в нем имен ученых, которые задавали тон на начальном этапе изучения Французской революции в СССР - Н.М. Лукина, Г.С. Фрид- .

лянда, Я.М. Захера, Я.В. Старосельского, С.А. Лотте, Н.П. Фрейберг, С.М. Моносова, П.П. Щеголева Достаточно вспомнить популярный лозунг тех лет "кадры решают все", чтобы понять: смена лиц была закономерной. Обобщение трудов историков 20-х годов, как и трудов тех, кто продолжил их исследования, состоялось в изменившейся парадигме. .

Человеческая драма отразила и вобрала в себя крутой идеологический и политический поворот, связанный с утверждением "культы личности", или сталинизма. В поле зрения этот феномен советской политической системы попадает здесь не как квинтэссенция последней, а как ее отражение в умонастроении и мировосприятии советских людей, в духовной атмосфере, которая окружала ученых, в идейно-теоретических установках советской исторической науки.

Том 1941 г. начинается и заканчивается ссылкой на "указание тов. Сталина" о том, что "Октябрьская революция как социалистическая в корне отличается от французской революции XVIII в. как буржуазной". При этом цитируется высказывание вождя, начисто отвергающее преемственность: "Октябрьская революция не является ни продолжением, ни завершением Великой Французской Революции" (С. 734). Показательно, что вождь в 1931 г.<sup>10</sup> не успел забыть каноническое наименование, которое в свете его указаний подлежало искоренению: "великой" отныне признавалась лишь Октябрьская революция. В середине 30-х годов революция конца XVIII в. сменила имя собственное на регистрационный ярлык "французской буржуазной революции 1789—1794 гг." Так в советской историографии восторжествовала концепция "революции-антипода".

Чем была вызвана смена парадигмы и почему, вслед за учеными 30-х, мы можем связать это событие лично с генсеком правившей партии и с тем идейно-политическим явлением, которое он олицетворял? Разумеется, сыграли свою роль яростные внутривнутрипартийные дискуссии 20-х годов, использование исторических аналогий из событий конца XVIII в. в обвинениях против политики партийного руководства, аппарата правящей партии и непосредственно генсека ЦК ВКПб (особенно "термодорианское перерождение")<sup>11</sup>. Однако этот мотив пребывает, что называется, на поверхности и не должен закрывать глаза исследователю на более существенные причины поворота в освещении революции от "прототипа" к "антиподу". Глубинным фактором можно считать курс партийного руководства на ликвидацию относительных экономических свобод и идеологических послаблений нэпа.

Обосновывая необходимость ужесточения режима и продления революционно-диктаторского порядка управления на весь обозримый период созидания нового общества, И.В. Сталин указал на принципиальное отличие революции в СССР не только от Французской, но и всех революций прошлого. "Буржуазная революция завершается обычно захватом власти, тогда как для пролетарской революции захват власти является лишь ее началом, причем власть используется как рычаг для перестройки старой экономики и организации новой. Буржуазная рево-

люция... не нуждается в сломе старой государственной машины" и т.д. В конечном счете, в предложенном автором списке из "пяти основных пунктов" различия сводятся к характеру власти, к противоположности "пролетарской" диктатуры "буржуазной" демократии. Суть противоположности типов власти заключена, по Сталину, в том, что пролетарская диктатура выступает как бы демиургом и должна создать новый общественный строй чуть ли не из ничего ("при отсутствии, или почти при отсутствии, готовых форм социалистического уклада").

Можно ли осуществить "коренную перестройку старых, буржуазных порядков без насильственной революции, без диктатуры пролетариата?" — задавался риторическим вопросом генсек ЦК. И отвечал со всей категоричностью и недвусмысленной угрозой в адрес способных усомниться: "Ясно, что нельзя. Думать, что такую революцию можно проделать мирно, в рамках буржуазной демократии, приспособленной к господству буржуазии, - значит либо сойти с ума и растерять нормальные человеческие понятия, либо отречься грубо и открыто от пролетарской революции"<sup>12</sup>.

Официальное указание на исключительность революции в СССР и, в частности, на ее "коренную противоположность" Французской революции требовало от ученых сосредоточиться на раскрытии "буржуазности" и "ограниченности" последней. Особенно вопиющим акцентирование буржуазной ограниченности выглядело в очень внушительной (около 20% всего тома) главе по культуре. Авторы отраслевых разделов (наука, образование, литература и др.) вели полемику на двух фронтах: с нигилистической оценкой, отождествлявшей революцию с "вандализмом" и погромом культуры, и с восторжествовавшей после революции "буржуазной культурой".

В противовес нигилизму советские ученые (О.А. Старосельская, И.И. Зильберфарб, К.Н. Державин и др.) ввели в оборот немало полезного и значимого материала<sup>13</sup>, актуального до сих пор, поскольку и в современной историографии созидательная сторона революции гораздо меньше привлекает исследователей, чем разрушительная. В то же время война с "буржуазной культурой" закрывала дорогу для определения общецивилизационного значения Французской революции; концептуальное осмысление подменялось нормативными положениями относительно неполноценности этой культуры в сопоставлении с культурными достижениями Советской власти.

"Патриотическое" увлечение подобными сопоставлениями могло доходить до крайности. Характеризуя политику Конвента в области искусства, отмечая, как революционные власти стремились к тому, чтобы произведения живописцев, скульпторов, архитекторов украшали города и жизнь людей, автор (Н.Н. Водо) неожиданно заключает: "В условиях буржуазной революции все эти мероприятия имели другое классовое содержание и не могли иметь того размаха, который доступен лишь социалистическому государству" (С. 634. Курсив мой. — А.В.).

К чести авторов обозреваемого тома они редко доводили руководящие указания до примитива, однако подобные примитивы весьма красноречиво характеризуют общую идеологическую атмосферу, в которой работали исследователи. "Лишь в стране победившего социализма", "только Октябрьская революция", "только Сталинская конституция" - эти клише партийной пропаганды нормативной лексикой внедрялись в историографию, интериоризуясь в качестве нормативного образа мышления. Исключительность установившегося в стране режима как недостижимая норма становилась руководством для суда над историческим прошлым.

"Линия исключительности" включала много звеньев. Как преемница революционной "чрезвычайности" она возводила последнюю на высоты новой философии истории и одновременно пролонгировала "чрезвычайщину" как практический принцип созидания нового общества. Коротко "линия исключительности" означала, что революционный процесс в СССР и советский порядок пребывают: 1) вне исторических закономерностей, обрекавших на неудачу, половинчатость, "однобокость" (И.В. Сталин) революции прошлого ("даже великие" - он же), 2) вне действия религиозно-этических заповедей и выдвинутых мыслителями прошлого "абстрактных" гуманистических принципов, 3) вне "буржуазных свобод" и того "юридического кретинизма", который усматривали в следовании принципам законности, выдвинутой Французской революцией, 4) вне презумпции невиновности и ей подобных "буржуазных предрассудков" судопроизводства.

Для обретения надысторического статуса и отрицания принятых норм морали и права, Советской власти требовалась особая санкция в виде соотнесенности с абсолютном. Место высшей духовной инстанции заняли миллениаристские чаяния человечества об обществе социальной гармонии и справедливости. В анализируемых текстах советские историки Французской революции предстают людьми, которые верили в "самый передовой строй", способный осуществить эти чаяния. И свою профессиональную деятельность они считали вкладом в достижение столь высокой цели и "служением" великому идеалу. На таком фоне тускнели какие-то иные идеалы. В 30-х годах в "стране победившего социализма" уже было не принято задумываться о том, что революционеры 1789 и 1793 гг. столь же свято верили в идеалы и более того имели основание считать свои цели высокими и общечеловеческими, а нормой сделалось высокомерное отношение к их вере как к "буржуазным" или "мелкобуржуазным" иллюзиям.

В обоснование своего пренебрежения ссылались порой на марксово "Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта", где автор с неподдельным пафосом писал о "гладиаторах буржуазного общества" и "иллюзиях, необходимых им для того, чтобы скрыть от себя буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы, чтобы удержать свое воодушевление на высоте великой исторической трагедии". Но какую "ограниченность" обнаружил бы проницательный Карл, доживи он до историче-

ской трагедии советских 30-х? Что бы он назвал "иллюзией", а что "задачей своего времени"<sup>14</sup>

Доживший до постсоветских времен классик историографии Французской революции, размышляя о советском социализме, представляет его "пусть плохоньким, убогим, полунищим, замешанным на терроре", но с великим будущим<sup>15</sup>. Наверное, подобным образом рассуждали историки революции XVIII в., пережившие "большой террор". Убежденность ушедших поколений неподвластна историческому анализу. У ученых тех поколений было на нее прижизненное человеческое право, за ней и посмертная правда. Но в свете исторического опыта и того этапа капиталистического развития, который осмыслил Маркс, и того, который явлен нам "развитым социализмом", напрашивается следующий шаг в движении аналитической мысли.

Разве не напоминают постулаты историков Французской революции о превосходстве социалистической революции все тот же "нас возвышающий обман", и может быть "иллюзии-реалии"<sup>16</sup> в приведенных оценках советского строя следует поменять местами? Например, увидеть реальностью не социализм, "замешанный на терроре", а террор, "замешанный" на социализме? Иными словами, социалистическими предстают *post factum* фразеология, официальные ценности, надежды, а реально решалась задача воссоздать деградировавшую и дискредитированную при последних Романовых центральную власть, создать обороноспособную индустриальную экономику, сформировать современное и вместе с тем подчиненное государству как его производное гражданское общество.

Для идеологического обоснования этой этикетской *Realpolitik* и обеспечения "власти трудящихся" историческими примерами была в дополнение к "революции-антиподу" востребована концепция "революции-прототипа". На вспомогательных ролях она подспудно все же пробивалась в историографии "победившего социализма". В предисловии к коллективному труду 1941 г. революция XVIII в. провозглашалась "народной революцией", причем не только с точки зрения ее движущих сил (по Ленину, ненародных революций просто не могло быть и без участия народа допускалась лишь возможность государственных переворотов); принимались во внимание отражение в общем ("буржуазном") характере этой революции требований и устремлений "народных масс", их причастность к актам революционной власти.

Правда, признание Французской революции "народной" тут же низводилось до определенного уровня установлением рамок народного участия - как хронологических (1793-1794), так и содержательных. "Самостоятельные требования народных масс, отличные от требований буржуазии, были мощным рычагом в борьбе буржуазных революционеров против феодализма, против интервентов, против шпионов, диверсантов, темных дельцов... Народ только расчистил дорогу для развития капитализма" (С. VI). Итак, народ лишь таскал каштаны из огня для буржуазии, а сам за 150 лет после революции не получил "ни хлеба, ?

ни свободы, ни мири". "Нищета, невежество, политическое бесправие остались, как и до революции, уделом французского народа" (С. VII. Курсив мой. - А.Г.).

Что же тогда подвигло французский народ на "величайшие жертвы и героические усилия"? Лаконичный и безапелляционный ответ гласил - историческая необходимость сбросить "цепи феодализма"! Все остальное в конце XVIII в. было "только утопией" (С. VI-VII). Любопытно, что советская доктрина Французской революции при всей своей идеологической непримиримости в фундаментальном вопросе относительно причин и сущности вобрала в себя классическую традицию буржуазной историографии, определившей, что смыслом революции было низвержение феодализма. Историки из страны "победившего социализма" сближались с исторической традицией победившего капитализма, когда патетически отрицали это ненавистное прошлое.

Но у нашей историографии были для этого свои мотивы. В том же тоне и даже в тех же выражениях, как о 1917 г., наши историки с энтузиазмом писали о "грозной величественной буре", потрясшей "до основания" не только Францию, но и "всю Европу", об исключительности Французской революции как "единственной" буржуазной революции, в которой "борьба была доведена до конца", безоговорочно поддерживали буржуазию в ее "смертельной схватке" с феодальным порядком, который "стоял преградой на путях развития человечества". С явным сочувствием к победителям рассуждали авторы тома о сковывавших "новое, буржуазное" общество "феодальных путах", о "третировавших" буржуазию "гордых, но бездарных аристократах" (С. V). Красноречиво описание невыносимого и унижительного положения Франции перед революцией: из-за "безалаберной и реакционной" внутренней политики и "капитулянтской" внешней страна "втоптала в грязь свою репутацию" и стала сходить "в разряд второстепенных держав" (С. 11). В характеристике различных негативных явлений, сопутствовавших экономическому росту и внедрению рыночных отношений, исчерпывающим представлялся вывод о всеобщем "кризисе феодально-абсолютистской системы" (аллюзия на "всеобщий кризис капитализма").

Видимо для того, чтобы смысл Французской революции сделался более доступным отечественному читателю<sup>17</sup>, автор раздела о начале крестьянских восстаний Ф.В. Потемкин привел высказывание Сталина о "революции крепостных крестьян", которая "ликвидировала крепостников" и "отменила крепостническую форму эксплуатации" (С. 62). Несуразность цитирования, к которому прибег уже опытный в то время исследователь (проводивший свои исследования о промышленной революции во Франции с 20-х годов и член-корреспондент АН СССР впоследствии) выглядит особенно рельефно, поскольку в другом разделе он же отметил, что "личная крепостная зависимость почти полностью исчезла во Франции к 1789 г." (С. 3).

По-видимому, в этом, как и в других многочисленных случаях, идеологическое указание заменило теоретический поиск. В характеристике

народного движения и особенно крестьянских восстаний советская историография 30-40-х годов на самом деле продвинулась не столь значительно, чтобы обосновать и развить нормативное положение относительно ведущей роли народных масс в революционном процессе. В анализе массовых движений деревни и города авторы обобщающего труда почти всецело опирались на работы предшественников. Разумеется, крайне негативно сказывался недостаток источников в СССР для воссоздания подобных глубинных явлений. Однако можно сказать и больше: свой отпечаток наложила эпистемологическая составляющая, явленная особым, нормативным образом мышления.

А.В. Адо, размышляя о типических чертах советской историографии, выделил два направления, концентрация на которых привела, по его мнению, к односторонности общей картины: изучение Французской революции "снизу" (положение и борьба народных "низов") и "с крайне левого фланга"<sup>18</sup>. Я попытаюсь уточнить и развить авторитетное наблюдение признанного советского специалиста по народным движениям, автора первой и единственной в мировой науке монографии, обобщающей революционные крестьянские восстания 1789-1794 гг.

Изучение "слева" и "снизу" предстает двумя сторонами одной методологической позиции, которую советские историки выстраивали в соответствии с недвусмысленной логикой: прогресс — революция - революционно-демократическая диктатура. Революция мыслилась неизбежным следствием и двигателем исторического прогресса, прогресс революции требовал установления диктатуры. Этой логикой выражал себя специфический образ мышления, в котором официальные постулаты соединялись с личной убежденностью ученых, социалистические идеалы — с апологией советского образа жизни. Как отражение эволюции последнего изначальная ретроспекция от 1917 к 1789, образывавшая духовно-эмоциональный стержень для ранней советской историографии, в 30-х годах превратилась в целенаправленное обоснование историческим опытом "той" диктатуры необходимости "этой", советской.

И в такой исследовательской "запрограммированности" убеждаешься, проводя сопоставление с работами тех западных ученых, которых называл Адо (Лефевра, Собуля, Рюде) и на аналогию подходов с которыми у советских историков он ссылаясь<sup>19</sup>. Однако прежде всего впечатляет сопоставление с концепцией П.А. Кропоткина. Его можно было бы назвать предшественником изучения роли народных масс для советской историографии, если бы последняя это признала. Между тем даже при известной (и высокой) оценке В.И. Лениным кропоткинской концепции роли народных масс в революции, "признание Кропоткина" устоялось лишь в конце последнего периода советской историографии. А дальше всего от этого признания советская наука была именно во второй, сталинский период своей эволюции. .

В содержательном историографическом обзоре (автор раздела и основной автор всего обзора - Т.В. Милицына), образующем заключи-

тельную главу тома 1941 г., особенность подхода Кропоткина характеризуется однозначно: Кропоткин "совершенно не понял прогрессивной и организующей роли диктатуры якобинцев", "совершенно не понимал прогрессивной роли буржуазии в XVIII веке" и в результате не смог "понять характер, задачи и движущие силы французской революции" (С. 717-718). Советские марксисты 30-х годов считали себя на голову выше "непонятливого" Кропоткина, потому что тот отстаивал способность народных масс к самоорганизации и самосознанию, тогда как, согласно официальной доктрине, организацию и сознание в народное движение (даже, по ленинской работе "Что делать", в движение пролетариата в XX в.) надлежало "внести".

Под прямым влиянием Кропоткина, как очевидно, например, по ранним работам Я.М. Захера, начинались исследования о "бешеных", которые я бы назвал высшим достижением довоенной советской историографии в изучении городских движений<sup>20</sup>. Отправлялся же Захер от более широкой темы — секционного движения<sup>21</sup>, вынесенной из семинара Н.И. Кареева (который, в свою очередь, обратился к изучению секций тоже под влиянием труда Кропоткина). Почему же советский ученый сузил поле исследования лишь группой наиболее выдающихся и известных деятелей парижских секций 1792-1793 гг.?

Дело не просто в источниковедческих трудностях: как показывает популярность "бешеных" в дискуссиях 20-х - начала 30-х годов, ученый шел навстречу идеологическим потребностям и политическим представлениям формирующегося режима. Этот "социальный заказ" заключался не столько в изучении положения, настроений и требований масс, сколько в обосновании необходимости руководства ими. Соответственно значение "бешеных", в глазах советских ученых, стало возрастать, а в их деятельности усмотрели прообраз партийной организации.

В своих ранних работах Захер характеризовал этих революционеров как выразителей настроений и чаяний парижской бедноты, не имевших ни своей идеологии, ни политической программы, ни организации. Виднейший из них - Жак Ру, по словам ученого, "не вел за собой толпу, а покорно следовал за ней"<sup>22</sup>. В книге 1961 г. (под названием «Движение "бешеных"») Захер писал, что "бешеные" шли "во главе движения", требовавшего государственного вмешательства в рыночные отношения, вопреки как жирондистам, так и якобинцам<sup>23</sup>. Изменение оценок красноречиво подчеркнуто названиями первых работ и другого советского ученого С.Л. Сытина, подхватившего эстафету в изучении "бешеных" в 50-х годах. "Революционное движение плебейских масс Парижа под руководством Ру и Леклерка"<sup>24</sup> - так называлась его кандидатская диссертация . . .

Решающий вклад в переоценку роли Жака Ру и его соратников (организационные связи между которыми так и не были установлены) внес тот же коллективный труд 1941 г. В нем была введена сама формула "движение бешеных". Утверждалось (автор раздела - Ф.А. Хейфец), что "в марте 1793 г. бешеные создали свой центр в Париже"<sup>25</sup> что во- и .

круг них с февраля 1793 г. "сплотились плебейские низы, пролетарии Парижа и полупролетарии" (С. 300).

Когда в конце 50-х годов появилась упоминавшаяся монография Альберта Собуля и секционное движение предстало настолько многообразным, что говорить о руководстве им со стороны не только "бешеных", но вообще какого-то единого квазипартийного органа стало крайне затруднительным, в рядах советских историков произошло некое смятение. Тезис французского ученого относительно самостоятельности секционного движения, его "автономности" от политического руководства революции вызвал активное неприятие (наиболее последовательно оно выражено в предисловии А.З. Манфреда к русскому изданию монографии Собуля<sup>26</sup>, но серьезные критические замечания были высказаны и другими<sup>27</sup>).

Не все обстояло гладко и с восприятием монографии Джорджа Рюде "Толпа во Французской революции". Неприемлемым был уже сам термин "толпа"<sup>28</sup>. Советских историков буквально шокировали быто-визация и деполитизация массового движения. Еще более радикальной была десакрализация народных выступлений и поведения масс у другого последователя Лефевра и типичного представителя подхода к революции "снизу" Ричарда Кобба, который поставил под вопрос само понятие<sup>29</sup> "революционное народное движение" и существование последнего как социального явления.

Точно так же не была принята советскими историками и концепция "автономной крестьянской революции" самого Жоржа Лефевра<sup>30</sup>. Советская историография защищала тезис о единстве революционного процесса, и в этом постулате, разумеется, было рациональное зерно. Но, увы,<sup>31</sup> единство устанавливалось телеологически и скорее политико-идеологической, чем научно-методологической, схемой. Подобно тому, как *post hoc propter hoc* определялся социалистический характер Октябрьской революции, из утверждения капитализма в XIX в. выводилась капиталистическая природа революции XVIII в., из постреволюционного господства буржуазии - соответствие буржуазным интересам революционных актов и акций (даже в период якобинской диктатуры при ее "плебейских" способах расправы с целыми слоями буржуазии вроде "negociants").

В попытках преодоления фатального детерминизма телеологической схемы отдельные ученые (начиная с Н.М. Лукина) ставили вопрос о том, что некоторыми своими сторонами и мероприятиями революционной (якобинской) власти Французская революция "выходила за рамки" буржуазности; но такой "выход" трактовался либо в плане "американского пути" (особо прогрессивный "демократический капитализм" в аграрном развитии, по Ленину), либо в перспективе "перманентной революции" (протосоциализм, по Энгельсу и Ленину)<sup>32</sup>.

Ход мысли у Лефевра и его последователей был прямо противоположным: "автономность" крестьянских и санкюлотских выступлений свидетельствовала о традиционалистском "антикапитализме" этих дви-

жений. А в соответствии с доктриной абсолютной прогрессивности капитализма для XVIII в., принятой, начиная с Жореса, французскими историками марксистской ориентации, народный "антикапитализм" оказывался "реакционным". Некоторые советские ученые (в частности, Я.М. Захер в ранних работах о "бешеных") следовали этой точке зрения; но были беспощадно раскритикованы. Прогрессивность народных движений оставалась в советской историографии революции нормативным постулатом.

В результате поле зрения при анализе "снизу" существенно ограничивалось. Резко выпячивались антифеодальные черты крестьянских восстаний. "Феодализм - вот враг!" (С. 40); такой формулой определялась мотивация общенародного протеста. Очевидным образом объясняя антисеньориальные выступления, предложенная формула оставляла, однако, без разъяснений, какое место в антифеодальной (по схеме) революции занимали другие типы классовой борьбы низов и наиболее распространенные из них продовольственные движения. В последних игнорировались очевидные традиционалистские черты - деревенская и городская беднота требовала восстановить практику государственного регулирования цен на хлеб, которая существовала при "ненавистном" (по схеме) Старом порядке. Не случайно она была отменена во имя свободы торговли, и этот акт был с большим энтузиазмом принят либеральным общественным мнением, расценившим его как одно из первых завоеваний революции.

Постулат нормативно-антифеодальной прогрессивности народного движения фактически заблокировал изучение массовых контрреволюционных выступлений. Крестьяне, их участники, объявлялись "темными, невежественными, фанатически настроенными" (С. 319), выпячивались роль роялистской пропаганды, происки "бывших" дворян и не принявших революционные нововведения в положении духовенства священников. Ну и, разумеется, вполне в духе времени "огромная роль" отводилась "диверсионной деятельности английских агентов" (С. 327). Что же касается социальной характеристики подобных выступлений, то она обычно состояла из упоминаний о "кулацком элементе" (С. 318). Таким выглядит раздел коллективного труда, посвященный Вандейскому восстанию (автор - М.А. Буковецкая), который стал эталонным для последующих учебников и справочников<sup>33</sup>

Итак, в сопоставлении с действительно наиболее близкими по методологии, идеологии и порой в политическом отношении (Альбер Собоуль был членом ФКП и до конца своих дней оставался<sup>34</sup> убежденным марксистом) западными учеными (и особенно с ними) советский подход "снизу" предстает достаточно специфическим. Нормативный образ мышления, несомненно, стимулировал изучение положения народных масс и их выступлений, но накладывал жесткие ограничения: не всякие массы и далеко не все их выступления были "нам нужны". В конце концов, "Вандея" в Советской России являлась жупелом не менее популярным, чем "Термидор". .

Наряду с "народностью" требует переосмысления и "левизна" советской историографии Французской революции. Органичность здесь не вызывает сомнений. В свете концепции "революции-прототипа" левые радикальные течения революции XVIII в. казались наиболее близкими революционерам XX в., подтверждая преемственность революционного процесса или, по крайней мере, революционных традиций. В этом плане советские историки 30-х отличались от историков 20-х лишь меньшей прямолинейностью и несколько большей сдержанностью в выражении своих симпатий.

Но, кроме естественного чувства преемственности, существовала нормативность интереса к левым группировкам, которая в 30-х годах проявлялась иначе, чем в 20-х. Те постсоветские авторы, у которых "якобиноцентризм" стал излюбленной мишенью для критики предшественников, как правило, не задумываются о многообразии и эволюции этого явления. "Якобиноцентризм" 30-х был не столько оценкой успешности "левоблокстской тактики" в "демократической революции" (по Ленину), сколько выражением сталинской Realpolitik партийной диктатуры. Разве не обеспечивали якобинцы своей диктатурой решение аналогичных задач по созданию сильной власти, оборонноспособной экономики, подчиненного гражданского общества?

В 30-х годах советских историков уже значительно меньше интересовали взгляды якобинцев, их идейные устремления. Интерес явно переключился на политическую деятельность и особенно на характеристику созданной якобинцами системы управления. Быстро распространилось понятие "якобинская диктатура". Значение его было раскрыто программной (и, можно добавить, своевременной - 1934 г.) статьей Н.М. Лукина, и выводы репрессированного к тому времени академика, лидера ранней советской историографии о применимости к Революционному<sup>35</sup> правительству якобинцев определения "революционно-демократическая диктатура" были закреплены коллективным трудом 1941 г.

"Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин уделяли большое внимание организации власти якобинцев, роли революционного правительства, они придавали большое значение политической централизации, установленной якобинской диктатурой, но они подчеркивали в то же время, что революционное правительство дало возможность проявить политическую активность всей революционной демократии, которая осуществляла свою власть, соорганизовавшись в секции, революционные комитеты, народные общества" (С. 366. Курсив мой. -А.Г.), - так писала автор главы об установлении якобинской диктатуры Р.А. Авербух, корректно излагая положения классиков.

Выделенное курсивом "но" между тем показывает, что автор чувствовала противоречие между централизацией и демократизацией в условиях диктатуры и "разрешала" его не только указаниями классиков, но и подчеркивая активность низовых органов якобинской диктатуры. Другие авторы были менее церемонными. Например, в разделе о борь-

бе за второй максимум (автор - Л.Е. Якобсон) читаем: "террор и максимум требовали диктатуры центральной власти" (С. 398).

Историческим оправданием диктатуры (вместе с террором) считалось завоевание победы революции. "Только якобинская диктатура, только революционное правительство смогли провести необходимую для торжества революции реорганизацию армии и уничтожить без остатка феодальную эксплуатацию крестьян" (С. 366). Или более подробно (автор - С.В. Фрязинов): «Якобинцы, действуя в союзе с народными массами, опираясь на них, спасли буржуазную революцию... "плебейскими" методами ликвидировали феодализм и расчистили путь для развития капитализма» (С. 403).

В духе указаний классиков <sup>36</sup> и вместе с тем вполне в соответствии с наличным фактическим материалом авторы (А.Я. Манусевич) раскрывали и причины падения якобинской власти. "К лету 1794 г. якобинская диктатура, в силу ослабления ее связей с плебейскими массами, обнаружила неспособность отразить нарастающую угрозу контрреволюционного заговора" (С. 483). Термидорианский переворот, как полагалось, провозглашался "контрреволюционным", и в то же время отмечалось, что он был направлен против антибуржуазных социально-экономических и политических мероприятий якобинской диктатуры <sup>37</sup>.

Симптоматичным было обоснование негативных для судеб револю-ции последствий переворота 9-10 термидора. Падение якобинской диктатуры виделось "началом пути, приведшего к установлению военной диктатуры", которая покончила с революцией, сохранив лишь выгодные крупной буржуазии ее плоды (С. 490). Фактически не только содержание наиболее радикального ("высшего") этапа Французской революции, но и судьбы революции в целом оценивались авторами сквозь призму установления, эволюции и падения якобинской диктатуры. Последним актом завершались и революция, и повествование о ее ходе.

Окончив на этой трагической ноте, авторы оставляли без прямого ответа вопрос, победила или потерпела поражение революция XVIII в. Между тем он был достаточно злободневным и часто звучал в литературе, посвященной 150-летию революции. Хотя всякие дискуссии о характере Термидора были прекращены, а большинство их участников репрессированы, общественную мысль не переставала волновать эта проблема. В 1939 г. она рассматривалась в сослагательном наклонении - "что было бы если". Например, если бы Сен-Жюсту удалось переубедить Робеспьера с его предубеждениями против институализации личной власти? Или если бы судьба революционной диктатуры оказалась в руках левых якобинцев, эбертистов? При всей неисторичности таких размышлений по отношению к 1794 г. они вполне историчны по отношению к 1939 г., поскольку выражают настроения этой эпохи и озабоченность этой диктатуры.

Они свидетельствуют, между прочим, что при всех директивных указаниях об исключительности "пролетарской" или "социалистической" революции в России концепция "революции-прототипа" остава-

лась непреодолимой и ведущее положение в ней принадлежало якобинской власти. Конечно, ответственные товарищи хорошо помнили указания и сами указывали на необходимость их помнить. Ем. Ярославский, главный редактор центрального исторического журнала "Историк-марксист" (32 тыс. экз.), предварял юбилейный номер стандартно-установочной подборкой высказываний классиков, призванной дать "марксистскую оценку революции 1789 г. и ее всемирно-исторического значения". И робко<sup>38</sup> отметив значение ее традиций для рабочего класса России, "когда он боролся против царизма, против помещиков, капиталистов", высокопоставленный функционер тут же добавлял: «Однако мы должны всегда помнить то, что сказал товарищ Сталин... "Октябрьская<sup>39</sup> революция не является ни продолжением, ни завершением Великой Французской революции"» .

Но менее ответственные товарищи позволяли себе (или им позволялось) идти дальше. "Французская буржуазная революция, - писал автор наиболее проблемной статьи юбилейного номера Ф. Козлов, - открыв период господства буржуазии, вместе с тем открыла и период собирания и организации сил пролетариата для борьбы против капитализма, против всякой эксплуатации, гнета и рабства". Именно в этом автор видел "огромное прогрессивное значение" и "историческую роль" революции, а затем доказывал, что "своими основными достижениями, своим длительным влиянием на общественно-политическую и социальную жизнь не одной только Европы" Французская революция "обязана якобинской диктатуре".<sup>40</sup>

В заключение проводилась уже совсем дерзкая мысль, что якобинским вождям, так сказать, просто не повезло родиться раньше времени, поскольку в XVIII в. не было "необходимых материальных предпосылок для упрочения власти трудящихся". "Гигантский опыт оставила якобинская диктатура передовому отряду демократии - пролетариату. Этот опыт внимательно изучался классиками марксизма ... применительно к новым историческим условиям XX века". И поскольку уже возникли "материальные основы для социализма" (банки, синдикаты, машинная индустрия, железные дороги, по Ленину), якобинская диктатура в XX в., делал вывод автор, "раз победив, неизбежно должна привести к установлению прочного господства трудящихся во главе с пролетариатом".<sup>41</sup>

Откровенное сближение режима 1793-1794 гг. с "диктатурой пролетариата" объясняет факты сакрализации или табуирования якобинской диктатуры в политической культуре 30-х годов. Услышав в лекции Я.М. Захера о том, что она была "мелкобуржуазной диктатурой" и падение ее было неизбежным, поскольку Робеспьера покинули народные массы, свидетель на процессе против Захера спешил заявить в духе времени об участии ученого в "контрабандной борьбе против Ленинско-Сталинского руководства" партии.<sup>42</sup>

Поистине для легитимации "разгрома оппозиционных течений в ВКП(б)" требовалось, как подчеркнул А.В. Адо, "создание единой офи- .

циально признанной концепции не только Октябрьской, но также и Французской революции"<sup>43</sup>. Однако стала ли такая концепция научным фактом? К концу 30-х годов, как можно предположить, в формировавшемся историческом сознании советского общества революция XVIII в. была потеснена и даже вытеснена из представлений об одной-единственной Революции. Установки на отмежевание "этой, нашей" от "той, ихней" ("ни продолжение, ни завершение"), призванные разрушить такое единство, вероятно, сделали свое дело. Вместе с тем жестокие внутривластные "разборки" с обращением к революционному опыту XVIII в. должны были лишь укрепить восприятие ее как революции-двойника. Для "другой" революции не могло быть "единой официально признанной концепции" именно потому, что статус революции-двойника исключал однозначность оценки. И это побуждает внести коррективы в существующее мнение о сформировании в 30-х "советской концепции" Французской революции, которая просуществовала чуть ли не до конца 80-х годов.

Официально, конечно, можно было "разжаловать" революцию во Франции из "великих" и поместить как рядовую среди таких же французских и таких же буржуазных, "прикончить" ее 9 термидора и т.д. Но подспудно осознавалось, что ее развенчание бросает тень на Октябрьскую революцию. Можно было настаивать на "коренной противоположности" двух революций; но нельзя было отказать Французской революции в пышном юбилее, на котором репрессированный в начале 30-х ученый (академик Е.В. Тарле) сможет безнаказанно приветствовать 150-летие "величайшей из всех буржуазных революций" - естественно, под тем видом, что она "послужила историческим этапом по пути человечества к славному восстанию и победе пролетариата на шестой части земли"<sup>44</sup>. Октябрьская революция распространяла ореол нормативной исключительности на своего двойника, и с этим ничего нельзя было поделать даже при режиме, который, казалось бы, все мог.

Ем. Ярославский, один из участников унификации истории ВКП(б) и создателей программного Краткого курса с однозначно-стандартной оценкой Октябрьской революции, буквально путается в словах, пытаясь найти определение ее двойнику в упомянутой установочной статье<sup>45</sup> Ученые выполняют указание о "коренной противоположности", но при том посвящают революции во Франции фундаментальный коллективный труд, который был призван стать началом программной для советской историографии 12-томной серии "Всемирной истории"<sup>46</sup> Черты неистребимой двойственности несет и сам труд: антипод и прототип, "буржуазная" и "народная", ограниченность и всемирно-историческое значение. Насколько можно говорить о выработке единой концепции при подобной мировоззренческой двойственности? . .

Да, историкам Французской революции были предъявлены,<sup>47</sup> и на самом авторитетном уровне, требования унифицировать свои взгляды на революцию. Но установилось скорее внешнее единообразие, чем внутреннее единство; была проявлена готовность к повиновению, но

не последовательность в выполнении предписаний. "Концепция" 30-х суммировала фрагменты различных концепций, представленных в 20-х, хотя попытки синтеза, несомненно, присутствовали. Уникальной была, например, попытка Т.В. Милициной, автора историографического обзора, совместить ленинские оценки якобинского Конвента как "диктатуры низов" с не менее авторитетными положениями и Ленина, и Сталина о буржуазной сущности революции, включая ее якобинский этап<sup>48</sup>.

Именно по этой линии, относительно социальной природы якобинской диктатуры, уже в 60-х развернулась резкая полемика В.Г. Ревуненкова против "школы Лукина-Манфреда", открыто разделившая советскую историографию Французской революции на различные, даже противостоящие, течения. Фактически начатая дискуссия обнажила те противоречия "советской концепции" революции, которые возникли еще в подходах 20-х (не случайно А.З. Манфред присовокупился к Н.М. Лукину), были приглушены во второй половине 30-х и оставались латентными до выступления Ревуненкова, чем и объясняется в немалой мере тот научный резонанс, который за ним последовал.

Сохранялись также противоречия в оценке "бешеных" и левых группировок якобинского блока, двойственность в характеристике термидорианского переворота и его ближайших политических последствий, наконец, самих итогов революции для народных масс. Симптоматично заключение от редакции о "спорности" "некоторых положений"<sup>50</sup> в статье Ф. Козлова. Нет, не концептуальным единством определила себя советская историография Французской революции. Следует поставить вопрос о статусе исторической науки как идеологического института правящего режима, требовавшем такого единства.

Идеологический статус отнюдь не исключал добросовестного изложения хода событий, корректной и адекватной фактическому материалу характеристики действий участников. Затруднялось теоретическое осмысление, направляемое в прокрустово ложе цитат Маркса-Энгельса, Ленина-Сталина<sup>51</sup>. Сами высказывания могли свидетельствовать о широком кругозоре классиков марксизма, их проницательности как политиков, достаточно хорошем знании современной литературы по Французской революции, к которой они питали неподдельный интерес. Именно благодаря последнему у советских историков революции оказалось особенно много "руководящих указаний". Лишь когда ослабела интериоризованность нормативного мышления, историки приспособились использовать это многообразие для обоснования своих концепций. В 30-х директивное цитирование оборачивалось подменявшей теоретический синтез эклектикой из отдельных положений. Бедой для историографии было придание этим высказываниям статуса высшей истины, одновременно научной и сверхнаучной.

Другим выражением идеологического статуса была концентрация на определенных, "нужных" моментах. Формирование новой нормативной ретроспекции в изучении Французской революции (от "этой"

328 Историк и время

диктатуры к "той") совпало с радикальным изменением подхода к отечественной истории, когда на смену национального индифферентизма "школы Покровского" утвердилась в качестве доминанты "реабилитация" прошлого России. По тональности два явления оказались раз-нонаправленными. Если в новой историографии Французской революции общей доминантой стало противопоставление двух революций, то в изучении отечественной истории был взят курс на преемственность (разумеется, в препарированном виде). Этот срочный и избирательный поиск в прошлом страны "прототипических" черт, которые могли служить культурной опорой для идеи всемирно-исторического призвания Советского государства, отражал тенденцию к воссозданию российского мессианства в новом облике "страны победившего социализма".

Для истории России "сталинизм" в его целокупности был новым явлением, но у этого продукта XX в. можно обнаружить некоторые традиционные предпосылки. В критические моменты российской истории нередко актуализовались архаические рецепты самоизоляции, основанные, с одной стороны, на культивировавшемся в Московском царстве стереотипе Запада как земли, опасной для православного

человека своими искушениями а с другой - на архетипе самодовлеющего социума, который для своего благополучия не нуждается во внешних связях и ограждается властью от пагубного воздействия инородной среды. ,

На протяжении XIX в. различные течения русской общественной мысли активно развивали тему избранничества России в спасении человечества от капиталистической цивилизации Запада. Н.И. Бердяев засвидетельствовал неизбывную логику российского мессианства: "от Третьего Рима до Третьего

Интернационала"<sup>53</sup> Следует только уточнить, что выраженный традиционалистский характер мессианская программа Советской власти приобрела именно в сталинский период, и именно тогда строка "Интернационала" приобрела соответствующий отзвук. "Пролетариев всех стран" стали звать не к соединению, а к присоединению (к "стране победившего социализма", "первой в мире", "единственной" и т.д.). Эволюционировал и сам Коммунистический Интернационал, превратившись в виде своих руководящих органов в часть аппарата ЦК правившей в СССР партии. Можно говорить, что при И.В. Сталине произошла частичная реставрация сакрально-великодержавного традиционализма; однако важно учесть, что в царской России изоляционистско-мессианские тенденции более или менее уравновешивались прямо противоположными, которые в сталинской системе были либо подавлены, либо основательно приглушены. .

Отражавшие изоляционистско-мессианские тенденции два противоположных курса (смягчение критицизма в отношении национальной традиции и увеличение его относительно истории других стран) сходились между тем в определении субъектов исторического процесса, достойных героизации. Такой фигурой, наряду с народными массами, в 30-х годах становится государство, а классовый подход, оставаясь уни-

нереальной методологией, вынужден порой отступать перед нормативно-конъюнктурным государственным. Наложение двух подходов образует занимательные коллизии: из господствующего "класса эксплуататоров" выделяются "народные защитники", "народные полководцы", наконец, "народные цари". Типичным для сталинского времени был культ Ивана Грозного и Петра I. Характерно, как в угоду культу преобразователя России затушевывались тяжесть народных страданий и отчаянность народного сопротивления. Народу полагалось терпеть во имя высших государственных интересов, поэтому проводилась мысль, что и сам народ осознавал необходимость этих лишений.

Наложение государственнического подхода на классовый определяло методологически своеобразие советской историографии революции XVIII в., реализуясь в "якобиноцентризме". Как и в отечественной истории, подлинным героем революции оказался не сам народ, а те, кто его представлял. Двигателем прогресса становится передаваемая, воспроизводимая и используемая "представителями" народная воля. Народность Французской революции олицетворяли "друзья народа", "народные революционеры", "трибуны" - словом, вожди народа. Апофеоз революции XVIII в. как "народной революции" виделся в создании народной власти, и народность якобинской диктатуры оказывалась, в конечном счете, мерилем народности революции в целом.

\* \* \*

На разломе советской эпохи исследователям Французской революции было предъявлено обвинение в том, что своей апологией якобинского террора они способствовали развязыванию сталинского террора. Такие мнения во время юбилея 200-летия прозвучали как бы со стороны по отношению к историографии революции и людям, ее создававшим, их можно бы счесть, вместе с А.В. Адо, полемическим перехлестом в ситуации "смены вех", эмоциональной "реакцией на преступления сталинизма"<sup>54</sup>. Однако еще в начале 60-х годов (вскоре после опубликования "Одного дня Ивана Денисовича", когда советское общество начало открываться самому себе) дочь видного, сгинувшего в ГУЛАГе, историка Французской революции, говорила мне, что отец вместе с другими разжигал огонь, в котором сами они сгорели. У меня нет слов, чтобы измерить выстраданность такого утверждения; и все же я не готов с ним согласиться.

Если историки Французской революции, современники Октября, и имели прямое отношение к истребительному огню "большого тер-рора", то разве что в качестве "растопки". Отношение их к якобинскому террору изначально было двойственным, а следовательно, критическим. Допускалась необходимость революционного террора в принципе, и это было ретроспективным, порой пылко полемическим (например, в полемике с А. Оларом по поводу "теории насилия"), оправданием репрессий периода гражданской войны. Вместе с тем террор

внутри революционного лагеря осуждался как "самоистребление". Последнее объяснялось якобинской "мелкобуржуазностью"<sup>55</sup>, т.е. в этом пункте историки Французской революции еще до идеологических указаний тов. Сталина подчеркивали прямую противоположность двух революций. Ссылкой на пролетарский характер революции, делу которой они служили, ставился таким образом предел целесообразности террора.

Можно установить противоположность устремлений ученых и партийного руководства. Если для первых социалистическая революция должна была (в отличие от буржуазных) сопровождаться минимальными репрессиями, то для Сталина из констатации "коренной противоположности" революций следовала необходимость усиления репрессий. Апология якобинского террора стала распространяться вместе с указаниями, что построение социализма невозможно "без насильственной революции", и предостережениями в адрес инакомыслящих.

И начало нового периода было положено переносом классовой борьбы в собственно историческую науку или, говоря директивным языком эпохи, кампанией уничтожения "классового врага" на "историческом фронте", которая, в свою очередь, была отражением ликвидации "буржуазных классов" волей партийного руководства. Объясняя, почему он не выступил с "разоблачением антимарксистских взглядов Тарле" (вопреки предписанию парторганизации), Я.М. Захер признал именно "недооценку... факта обострения классовой борьбы в СССР и, следовательно, необходимости усиления борьбы с классовым врагом на идеологическом фронте"<sup>56</sup>

30-е годы явились апофеозом в сведении революции к культу насилия. Постоянное обострение классовой борьбы, необходимость диктатуры правящей партии и террора — вот главное, что должен был усвоить советский человек из опыта революции. В ее истории настойчиво отыскивались параллели в обоснование различных репрессий - "раскулачивание", преследования "бывших", уничтожения "генералов-изменников" и т.п. Французская революция оказалась замкнута на якобинском периоде, а в этом периоде основной ценностью и достопримечательностью, наряду, разумеется, с самой диктатурой, оказывался "большой террор".

Но в полной мере все это - область агитационного "ширпотреба". Примечательно, когда позднейшие рассуждения о "полном и абсолютном оправдании террора" в историографии Французской революции подкрепляются, например, отсылкой к публикации неизвестной аспирантки, для которой ее материал о "генералах-изменниках"<sup>57</sup> оказался едва ли не единственным опубликованным выступлением по истории революции. Я нахожу здесь еще одно (косвенное) свидетельство, что в исторической науке 30-х апология собственно террора была маргинальным явлением.

Авторы коллективного труда 1941 г. воспринимали террор как историческую реальность и оценивали его как революционную необходи-

мость. Они верили, что террор, как и утверждали классики, спас революцию; но не сосредоточивались на этой спасительности, акцентируя в успехах якобинской диктатуры значение (по Ленину) "материального и хозяйственного обновления" страны. В соответствующих разделах попадались известные пропагандистские штампы "беспощадно карать", "заслуженная кара", но они были менее многочисленными, чем можно было бы ожидать. Наиболее "террористические" положения выглядят газетными клише: "буквально вся Франция кишела английскими агентами" (С. 442). Обращают на себя внимание зловеще-символические для эпохи оговорки, сближающие недовольство властями с уголовной ответственностью ("преступления против декретов", "преступления против революции"). Р.А. Авербух с простодушным сочувствием отмечает, что революционные комитеты, "несмотря на всю их энергию, едва справлялись со своей задачей, так велико было количество лиц, совершавших преступления против революции" (С. 356).

Авторы могли считать выступление "бешеных" против террора "тактической ошибкой" (С. 348) и одновременно морально отмежеваться от "расправы" над ними (С. 403), осудить выступление эбертистов и отказать в справедливости предъявленным им обвинениям, поддерживать разгром дантонистов и не согласиться с Матъезом, доказывавшим "измену" Дантона<sup>58</sup>. В борьбе с эбертистами и дантонистами они, безусловно, были на стороне Робеспьера, причем отмечали его противодействие "эксцессам" со стороны левых. С.В. Фрязинов подчеркивал, что, в отличие от эбертистов, "террор провозглашался им только в рамках революционной необходимости" (С. 418). Вместе с тем была прослежена эволюция террора в средство самосохранения. Подчеркнув, что декрет 22 прериаля давал возможность робеспьеристам "беспощадно карать партийных врагов", А.Я. Манусевич заключал: "...террор сделался для Робеспьера и его сторонников средством удержать власть в своих руках" (С. 475). Как видим, до "полного и абсолютного оправдания террора" это довольно далеко.

В 30-х годах в сознании советских людей утверждалась особая национальная идея - вера в правящую партию, руководящую строительством невиданного в истории общества, в ее "единственно верное" учение и исключительную мудрость ее вождя. Устрашение сопутствовало уверованию, беспримерные массовые репрессии действовали как убедительный аргумент внушения и самовнушения. Работа "на идею", а в историографии 30-х мы отмечаем значимые черты так называемого культа личности, ученые косвенно поддерживали и репрессии. Очевидно, "как все советские люди", "вместе со всем советским народом" они голосовали "за" и демонстрировали "против", восхваляли и клеймили. И все же эхо террористических процессов заметно только на поверхности историописания. Исследователи 30-х годов, подобно своим предшественникам, принимали террор как часть революции и лишь вместе с ней, а революцию они считали необходимой формой исторического прогресса. Не больше и не меньше!

<sup>1</sup> Недостаток такого целостного видения проблемы при всем обилии впечатляющих порой частных красноречиво продемонстрировал юбилейный, к 200-летию том "Великая французская революция и Россия" (и такого же юбилейного характера сборник "Великая французская революция и русская литература"). Оба были изданы в 1989 г.

<sup>2</sup> Ado A.B. Французская революция в советской историографии // Исторические этюды о Французской революции. М., 1998. С. 310.

<sup>3</sup> Возможность подобного подхода продемонстрировала Т.С. Кондратьева. См. раздел "Сомнения историков" и главу "Последнее слово принадлежит историкам" в ее монографии "Большевики-якобинцы и призрак термидора". М 1993.

<sup>4</sup> О близости взглядов английского профессора к оценкам советских историков свидетельствует рецензия А. Васютинского на монографию Дж. Томпсона "Робеспьер", в которой заслугой автора признавалась "реабилитация великого демократа от злобных нападков и инсинуаций реакционной лженауки" (см.: Историк-марксист. 1939. № 5/6. С. 264).

<sup>5</sup> Эта "иностранная" и поистине братская помощь существенно облегчила работу и ученикам Я.М. Захера в те годы, когда начавшиеся разговоры о поездке во французские архивы звучали как насмешка. Мне, например, при написании дипломной работы "Падение эбертистов" (1959) очень помог классический труд А. Собоуля о парижских санкюлотах, изданный в 1958 г. и оказавшийся в руках Я.М. буквально несколько месяцев спустя с надписью "A mon ami Zacker, en toute fraternite".

<sup>6</sup> Ссылки на это издание см. в тексте статьи.

<sup>7</sup> Дунаевский В.А. Великая французская революция в советской историографии (1917-1941 гг.) // История и историки. М., 1966. С. 84-85. В этом исследовании заинтересованный читатель может найти выделение периодов, указание направлений и тем, перечень наиболее значительных работ и их авторов. См. также: Великая французская буржуазная революция. Указатель русской и советской литературы. М.: ИНИОН. 1987.

<sup>8</sup> Впрочем, чтобы скрыть подобные лакуны, том - знамение времени - вообще был лишен подстрочного аппарата, за исключением ссылок на труды классиков марксизма.

<sup>9</sup> Не все из них были репрессированы. Н.П. Фрейберг умерла 13 июля 1933 г., по свидетельству В.М. Далина, отравившись грибами. С.М. Моносов покончил с собой, и, как уверял меня Б.Г. Вебер, это не имело отношения к идеологической чистке начала 30-х, а было следствием неразделенной любви. П.П. Щеголев умер после неудачной операции в 1936 г., будучи профессором Ленинградского университета. Но чистки, предзнаменование репрессий, уже успели накрыть и этих исследователей своей тенью. Щеголев подвергался жестокой критике в начале 30-х за концепцию "дотермидорианского перерождения" (см.: Проблемы марксизма. 1931. № 2. С. 214). На знаменательном заседании Ленинградского отделения Коммунистической академии, посвященном разоблачению "школ Тарле и Платонова", он выступал одновременно кающимся и обличителем, в первую очередь своего учителя, Е.В. Тарле, но также и близкого товарища Я.М. Захера (см.: Зайдель Г., Цвибак М. Классовый враг на историческом фронте: Тарле и Платонов и их школы. М.; Л-, 1931). Фрейберг в 1932 г., после кадровой чистки, последовавшей за письмом Сталина в редакцию журнала "Пролетарская революция", была "сокращена" из штата Комиссии по изданию документов эпохи империализма при ЦИК СССР (см.: Гавриличев В.А. Из истории изучения в СССР Великой

- А.В. Гордон. Великая французская революция 333  
французской революции. Наталия Павловна Фрейберг // Европа в новое и новейшее время. М., 1966. С. 173).
- <sup>10</sup> Беседа с Э. Людвигом 13 декабря 1931 г.
- <sup>11</sup> См. подробнее указанную монографию Т.С. Кондратьевой.
- <sup>12</sup> Сталин И.В. К вопросам ленинизма. Изд. 11-е. М., 1939. С. 113.
- <sup>13</sup> Будущий академик А.Л. Нарочницкий, рекомендуя в рецензии переиздать книгу, среди ее достоинств отмечал материалы по культуре (см.: Изв. АН СССР. Сер. ист. и философии. М., 1944. Т. 1. № 6. С. 291).
- <sup>14</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 8. С. 119-120.
- <sup>15</sup> "Ревизионист" // Смена. Л., 1992. 16 дек. С. 3 (беседа корреспондента газеты с В.Г. Ревуненковым).
- <sup>16</sup> О "возвышающем" самообмане применительно к Французской революции см.: Гордон А.В. Иллюзии-реалии якобинизма // Сен-Жюст Л.А. Речи. Трактаты. СПб., 1995. С. 364-366.
- <sup>17</sup> Такой мотив "приближения" замечен у П.А. Кропоткина, который в русском издании своей книги добавил в оценке Старого порядка по сравнению с французским оригиналом слова "т.е. крепостной" ("феодальный, т.е. крепостной строй", "феодальные, т.е. крепостные права"), хотя тоже, подобно советскому историку, констатировал, что большинство французских крестьян перед революцией уже не были крепостными (см.: Кропоткин П.А. Великая французская революция, 1789-1793. М., 1979. С. 510-511).
- <sup>18</sup> См.: Вести. МГУ. Сер. 8. Ист. 1996. № 5. С. 31.
- <sup>19</sup> См. подробнее: Старостин Е.В. К истории изучения П.А. Кропоткиным Великой французской революции конца XVIII века // Французский ежегодник, 1967. М., 1968. Как констатировал, вслед за Старостиным, В.М. Далин, труд Кропоткина следовало назвать "Роль народа в Великой французской революции" (см.: Кропоткин П.А. Указ. соч. С. 483).
- <sup>20</sup> В первую очередь, это монография Я.М. Захера с широкой источниковой базой, включая документы Национального архива Франции: Захер Я.М. "Бешеные". Л., 1930 (2-е переработанное, но вдвое сокращенное издание вышло в 1961). См. также ценный и плодотворный в методологическом отношении очерк: Фрейберг Н.П. Декрет 19 вандемьера и борьба "бешеных" за конституцию 1793 г. // Историк-марксист. 1927. № 6.
- <sup>21</sup> Захер Я.М. Парижские секции 1790-1795 гг. Пб., 1921.
- <sup>22</sup> Захер Я.М. Жак Ру. Пб., 1922. С. 33. Эта оценка воспроизведена и в следующей его работе: Очерки по истории "бешеных" эпохи Великой французской революции. Л., 1925. С. 29.
- <sup>23</sup> Захер Я.М. Движение "бешеных". М., 1961. С. 221.
- <sup>24</sup> См. также: Сытин С.Л. Борьба плебейских масс Парижа во главе с Ру и Леклерком за удовлетворение своих социально-экономических требований в июле-сентябре 1793 г. // Учен. зап. Ульяновск, пед. ин-та. 1956. Вып. 8. При знакомстве с Сергеем Львовичем в середине 60-х годов я спросил, почему он столь категорично "подчинил" секционные движения в Париже двум "бешеным". Он ответил, что приходилось учитывать диссертационную конъюнктуру (которая, замечу в скобках, отражала в тот период самым нормативным образом конъюнктуру идеологическую).
- <sup>25</sup> Ср.: Гордон А.В. Роль парижских секций и их Центрального революционного комитета в восстании 31 мая - 2 июня 1793 г. // Французский ежегодник, 1961. М., 1963.
- <sup>26</sup> А. Парижские санкюлоты во время якобинской диктатуры. М., 1966.

- <sup>27</sup> Когда в разговоре с Б.Ф. Поршневым я выразил совершенный восторг по поводу монографии Собоуля и с наивной прямолинейностью заявил, "вот у кого надо учиться" (я писал свою кандидатскую диссертацию, будучи аспирантом в секторе новой истории, который он тогда возглавлял), Борис Федорович резко парировал: "Собоуля самого еще надо учить". Действительно, первое время Собоуля пытались "учить", чтобы приблизить к советским представлениям о политическом руководстве революции в якобинский период. Свою оппозицию концепции французского историка довелось отметить и мне (Гордон А.В. Классовая борьба и Конституция 24 июня 1793 г. // Французский ежегодник, 1972. М., 1974. С. 154-155).
- <sup>28</sup> Rude G. *The crowd in the French revolution*. L., 1959. Термин "толпа" в русском издании другой книги Рюде был переведен как "народные низы" (Рюде Док. Народные низы в истории, 1730-1848. М., 1984). Критику низведения революционности масс до действий "толпы" см., например: Ковлер А.И. Великая французская революция и "демократия XXI века" // История политической мысли и современность. М., 1988. С. 183.
- <sup>29</sup> Кобб, вместе с Собоулем, Рюде и К. Теннесоном, входил в обойму "прогрессивных историков", пока занимался "революционными армиями", которым он посвятил капитальное исследование (Cobb R. *Les armees revolutionnaires. Instrument de la terreur dans les departements*. P., 1960-1963. Т. 1-2). Из этой обоймы он "выпал" после работ 70-х годов. См.: Манфред А.З. Великая французская революция. М., 1983. С. 416-418 и очерк "Пути и перепутья Ричарда Кобба" в кн.: Долин В.М. Историки Франции XIX-XX веков. М., 1981.
- <sup>30</sup> Краткий, но емкий обзор проблемы без указания, к сожалению, на эволюцию собственных взглядов см.: Адо А.В. Крестьянское движение во время Французской революции: (Историографические итоги)//Вести. МГУ. Сер. 8: Ист. № 5. С. 14-26.
- <sup>31</sup> Г.С. Черткова назвала это эпистемологическое явление "финализмом" (см.: Актуальные проблемы изучения истории Великой французской революции. М., 1989. С. 90). См. также: Чудинов А.В. Прощание с эпохой (размышления над книгой В.Г. Ревуненкова) // Вопр. истории. 1998. № 7. С. 156.
- <sup>32</sup> Эти поиски или, возможно, метания теоретической мысли в попытках уложить многообразную действительность в каноническую схему явственны, например, в моей статье о генезисе якобинской диктатуры (см.: Французский ежегодник, 1972. М., 1974. С. 172-173).
- <sup>33</sup> Во время работы в 70-х годах над статьей "Вандейские войны" для 3-го издания Большой советской энциклопедии, редакция 4 раза возвращала мне подготовленный текст, побуждая привести его в соответствие с этой схемой, воспроизведенной в предшествовавших энциклопедических изданиях.
- <sup>34</sup> В последний период жизни выдающегося французского историка его позиции и позиции советских ученых заметно сблизилась, чему способствовали два фактора. Во-первых, атака "ревизионистов", главным объектом которой был Собоуль, но в которой активно использовались его выводы об автономности санкюлотского движения (наряду с концепцией "крестьянской революции" Лефевра). Во-вторых, интенсивность общения Собоуля с советскими исследователями, прежде всего с Адо, см.: Смирнов В.П. Анатолий Васильевич Адо: человек, преподаватель, ученый (1928-1995) // Новая и новейшая история. 1997. № 1. Хочу подчеркнуть, что в этом общении эволюционировали обе стороны, и это еще раз показывает значение международного научного диалога, которого историография Французской революции была лишена из-за "железного занавеса".

- <sup>35</sup> Лукин исходил из работ Ленина, увидевшего в якобинской власти прообраз диктатуры революционной демократии (или "революционно-демократической диктатуры"), с которой у вождя большевиков связывалась надежда на возможность перехода от буржуазной к социалистической революции в 1905 г. См.: Лукин Н.М. Ленин и проблема якобинской диктатуры // Историк-марксист. 1934. № 1. Перепечатано: Лукин Н.М. Избр. труды. М., 1960. Т. 1.
- <sup>36</sup> Особенно важным было сталинское положение о том, что буржуазная революция в отличие от пролетарской не может сплотить вокруг ее руководства "на сколько-нибудь длительный период миллионы трудящихся и эксплуатируемых масс" (Сталин И.В. Вопросы ленинизма. М., 1939. С. 112).
- <sup>37</sup> Антибуржуазность "мероприятий" диктатуры, как тоже полагалось, автор отмечал с оговоркой: "которые казались стеснительными для безудержного развития новой и старой буржуазии" (С. 490. Курсив мой. - А.Г.).
- <sup>38</sup> Несмотря на свое высокое положение в аппарате, а затем и в качестве члена ЦК, Ярославский в начале 30-х не избежал проработки "снизу" (см.: Дунаевский В.А. Советская историография конца 20-х и начала 30-х гг. о деятельности большевиков на международной арене накануне первой мировой войны // Проблемы истории рабочего и демократического движения в странах Западной Европы. Уфа, 1963. С. 22-24. Хотелось бы обратить внимание на эту публикацию, которая хорошо передает атмосферу перехода к сталинскому периоду в советской историографии).
- <sup>39</sup> Развивая тему контраста между революциями, Ярославский сделал поистине исторический, с точки зрения советского мировосприятия, прогноз: "После победы Октябрьской социалистической пролетарской революции понадобилось два десятилетия, чтобы социализм утвердился на одной шестой мира. Вряд ли потребуется еще два десятилетия, чтобы социализм был утвержден на всем земном шаре" (см.: Ярославский Ем. Классики марксизма о французской буржуазной революции XVIII века // Историк-марксист. 1939. № 3 (73). С. 12).
- <sup>40</sup> Козлов Ф. К вопросу о якобинской диктатуре // Там же. С. 52-53.
- <sup>41</sup> Там же. С. 71.
- <sup>42</sup> Из показаний суду 14 сентября 1939 г. коллеги Захера доцента истфака ЛГУ ММ. Малкина. Цит. по: Золотарев В.П. Яков Михайлович Захер (1893-1963) // Новая и новейшая история. 1993. № 4. С. 194.
- <sup>43</sup> Вести. МГУ. Сер. 8: Ист. 1996. № 5. С. 31.
- <sup>44</sup> Историк-марксист. 1939. № 3. С. 136.
- <sup>45</sup> "Французская буржуазная революция XVIII века", "Французская революция 1789 г.", "Французская буржуазно-демократическая революция" и мимоходом гибрид оценок 20-30-х годов, распространившийся с началом десталинизации в 1956 г. - "Великая французская буржуазная революция" (Историк-марксист. 1939. № 3. С. 3, 12).
- <sup>46</sup> Там же. С. 215.
- <sup>47</sup> См.: Сталин И., Киров С., Жданов А. Замечания о конспекте учебника новой истории // К изучению истории. М., 1938. С. 25-27.
- <sup>48</sup> Фактически Т.В. Милицина рассуждала об исторической ограниченности якобинцев, поскольку те "не были в состоянии представить себе общество без частной собственности" и потому "даже в те моменты, когда выражали волю и стремления плебейских масс", оставались "только буржуазными революционерами" (С. 732-733). По понятным причинам она не могла заключить, что под такую ограниченность можно было подвести и сами "массы".

- <sup>49</sup> м.: Ревуненков В.Г. Марксизм и проблемы якобинской диктатуры. Л., 1967; см. также: Проблемы якобинской диктатуры // Французский ежегодник, 1970. М., 1972; Якобинство в исторических итогах Великой французской революции // Новая и новейшая история. 1996. № 5. С
- <sup>50</sup> См.: Историк-марксист. 1939. № 3 (73). С. 71.
- <sup>51</sup> Даже в относительно "вегетарианскую" пору "оттепели" теоретические поиски в связи с обобщением нового материала, введенного в оборот "прогрессивными историками" (Собулем и др.), шли или, точнее, пробивались в этом русле (см.: Алексеев-Попов В.С., Баскин Ю.Я. Проблемы истории якобинской диктатуры в свете трудов В.И. Ленина // Из истории якобинской диктатуры. Одесса, 1962). Да и В.Г. Ревуненков, обличавший "цитатный метод" своих оппонентов, отнюдь не избежал обращения за помощью к классикам. В последующей полемике у каждого оказался "свой" Ленин в совокупности нужных цитат.
- <sup>52</sup> Образ Запада как "погибельной, грешной земли" в контексте географической традиции, разделявшей "поганые" и "святые" земли, см.: Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры // Успенский Б.А. Избр. труды. М., 1994. Т. 1. С. 242. Стереотип воплощался в практике ограничения поездок на Запад, и этот рефлекс допетровского сознания был актуализован с новой аргументацией ("развращение") в Екатерининскую эпоху. С началом Французской революции упреждающий запрет стал административной мерой, воспроизведенной при очередной европейской революции Николаем I. От допетровских времен остался также страх перед иностранными языками как "греховным искушением, уводящим от Богооткровенного Слова". И еще при Софье воспрещалось учить языки самостоятельно (см.: Успенский Б.А. Раскол и культурный конфликт XVII века // Там же. С. 362-363).
- <sup>53</sup> Русская идея: в кругу писателей и мыслителей русского зарубежья. М., 1994. Т. 2. С. 211.
- <sup>54</sup> Исторические этюды о Французской революции. С. 317.
- <sup>55</sup> См. например: Моносов С. М. Очерки по истории якобинского клуба. Харьков, 1925. С. 3.
- <sup>56</sup> См.: Зайдель Г., Цвибак М. Указ. соч. С. 227.
- <sup>57</sup> См.: Актуальные проблемы изучения истории Великой французской революции. С. 21. Речь шла о короткой заметке аспирантки истфака ЛГУ Ф.Н. Коган "Генералы-изменники перед судом парижского Революционного трибунала", помещенной, наряду с развернутыми статьями известных в то время специалистов Е.Н. Петрова, П.П. Щеголева, А.И. Молока, А.Я. Манусевича, О.Л. Вайнштейна, в юбилейном номере: Учен. зап. ЛГУ. Сер. ист. наук. 1940. Вып. 6.
- <sup>58</sup> Заключение С.В. Фрязинова представляет попытку, исходя из "нормальных" юридических норм (а не "революционной законности"), отойти от историографических пристрастий: "Матъез обвиняет Дантона в прямой измене, но обвинения его основаны скорее на цепи косвенных улик, чем на твердо установленных исторических фактах" (С. 408).